



После мегаполиса

текст
Александр Раппорт

В одном анекдоте про Брежнева, он, гуляя по залам Эрмитажа, постоянно восклицал: «Идея!» Это пугало дирекцию, предвидящую проект коренной реформы музея. Идея таила в себе возможность разрушения культурного института. Но в конце концов мистический смысл этого слова разъяснился. Брежнев спросил: «И де я нахожусь?», то есть «где я?». Все дело было в южном диалекте. Однако с помощью этого анекдота сама «идея» неожиданно продемонстрировала свое отсутствие связи с местом. Ибо Платон свою концепцию идеи поместил в трансцендентную высь вечных смыслов, не соотносящихся с конкретными местами на земле. Теперь все стало на свои места. Но в жизни идея – продолжает править миром, хотя не имеет в нем места. Суть дела не в диалекте, а в диалектике.

Сам музей, по Мишелю Фуко, – гетеротопия, то есть другое место – там все не отсюда, а музей то и вообще а-топия, место без определенного места и времени – висит в какой-то неопределенной сфере чужого воображения.

Открытая Платоном идея не имеет не только места, она абстрактна непространственна и бессубстанциальна, как и его проект идеального города.

Город (по-польски как раз и называется «место»), таким образом, как понятие, не имеет места. Это всегда по необходимости идеализация, универсалия или утопия. Так возникает исходный парадокс современного научно-технического урбанизма как концептуального проекта места, которое такового иметь не может.

В прошлом веке ситуационисты во главе с Ги Дебором ополчились на большой современный капиталистический город как на мир спектакля, в котором все подделка и игра. Все не от жизни – следовательно, все – мертво. Хотя и притворяется молодым и веселеньким. Тоска.

Но, с моей точки зрения, здесь есть и другое, а именно: реальность вырывается за рамки понятия. Мегаполис все еще считается городом, но на самом деле он-то город и убивает.

Не исключено, что градостроительство будущего тысячелетия пойдет по пути борьбы или постепенного преодоления бесконечного территориального роста

Аннотация.

В статье предлагается критически рассмотреть судьбу понятий города и городского образа жизни как не преодолевших эмпирического исторического описания. Кризис мегаполиса в условиях глобализации дает ключ к новой постановке проблемы теоретического понимания города в системе планетарного расселения и возможность перенести традиционную проблему городского (буржуазного) отчуждения из ее политэкономической трактовки в сферу проблем идентичности и любви как новых ценностных перспектив глобального человечества. Подчеркивается важность идей ситуационного интернационала Ги Дебора и гетеротопии Мишеля Фуко, выдвинутые в середине прошлого века и обретающие новый смысл в современных системах глобальной коммуникации.

Ключевые слова.

Город, городской образ жизни, утопия, гетеротопия, атопия, ситуационизм, планетарная клаустрофобия, отчуждение, идентичность, проект.

городских поселений, мегаполисов и начнется глобальный процесс реструктуризации расселения. Ситуационисты ограничились тем, что предположили, что город днем будет работать, а вечером превращаться в бесконечный интеллигентный луна-парк. Рем Колхас превратил их идею в бойкий рыночный продукт, имитирующий нечто живое, а на самом деле изображающий в архитектуре капризов мертвую жизнь, построенную на условностях бюрократии. Такова и его архитектура.

Все это сегодня может обсуждаться в контексте глобализации, которая затрагивает и аргументы, тесно связанные с судьбой архитектуры.

Сама же глобализация наткнулась на мегаполис, который довел образ глобализма до идиотизма, сосредоточив в себе практически все, что может быть на земле, кроме жизни. Исторический город дал мощный импульс развитию архитектуры, но в мегаполисах и архитектура ставится под угрозу как сфера человеческих масштабов и, следовательно, самой человечности, ибо человек это существо, чувствительное к масштабу.

Мегаполис, превращаясь в «человейник», может в будущем стать местом исчезновения Человека, а выросший на городской почве городской образ жизни потребует коренного пересмотра и своих смыслов, и своих пространственных форм, сделавшись как раз той идеей, которая пугала сотрудников Эрмитажа, ибо смыслы вне пространственных форм утратят самих себя.

Но сегодня мегаполисы рассматриваются (в том числе и как зло) в системе тех же категорий, которые их сто лет тому назад и породили в потоке градостроительного энтузиазма – то есть производственных и культурных функций. То, что обещало рай земной, теперь сулит катастрофы и теракты, не говоря уж о «планетарной клаустрофобии» как перспективе депрессивного переживания замкнутости земного мира.

Первый урок, который уже извлечен из этого, – относительная независимость городского образа жизни от самого города в эпоху современных коммуникаций. И производство, и власть, и культура и даже случайные встречи с судьбой теперь возможны без городских услуг.

Abstract.

In the article the concepts of city and urban way of life are critically reexamined in the wake of megapolitan crisis and global communications. The concept of city is still and ignoring rediscovery of alienation and meaning of identity limits in consuming oriented society. In 21 century understanding of urban and planetary phenomena should be reassessed and the fundamental limits of telluric destiny of the humankind rediscovered as a next step in architectural approach to survival of mankind. There are some special points emphasizing situationist approach to urban and architectural theory.

Keywords.

city, urbanism, utopia, heterotopias, atopia, situationism, planetary claustrophobia, alienation, identity, design.

After Megalopolis

Эта неопределенность вырастает в проблему и вызывает новый поток работ по так называемой урбанистике. Но все эти работы возвращаются к категориям функции, пространства и коммодификации, что не продвигает понимание смысла города как такового. Город, как понятие, разделит судьбу любви и электричества, мы пользуемся этими понятиями в технических расчетах или гадая о судьбе, но смысл таковых остается неясным.

Выпав из архитектуры и попав в сферу социальной географии, город так и остается беспризорным сиротой познавательных стратегий. За две с лишним тысячи лет мы не ушли далеко ни от «Города Градова» Платонова, ни от платоновского «Государства», ни от «Небесного Иерусалима».

А проблемность этой познавательной ситуации тонет в пучине фактов и мнений, которые по инерции считаются полезными, но полезны они, пожалуй, только тем, кто на них кормится.

Неадекватность знаний пытаются восполнить энергией проектных дерзаний – утопической или бумажной архитектурой, научной фантастикой и археологическими реставрациями. Чтобы убедиться в относительной бесплодности таких знаний достаточно задать вопрос: обречено ли понятие «город» на умирание и способно ли оно существовать в будущем?

Возможно, что город как морфологический, физический объект, как объект проектирования, как исторический феномен и как идеальный вариант образа жизни – совершенно разные конструкции, каждая из которых не дорастает до понятия или идеи. Но обладает своими ограниченными перспективами изменений.

Сталкиваясь с тем, что есть в реальности, мы теряем универсальный смысл идеи. Город Тамбов, город Афины, город Мехико, но не понятия, а условная терминология географической или исторической топографии.

Нас спасает то, что в градостроительной практике и политике критерием реальности является не понятие, а миф, привычка, историческое предание. Москва может при желании пониматься и как Небесный Иерусалим, и как Вавилон?

Думаю, что в третьем тысячелетии нам придется каким-то образом достроить понятие города, как и всей номен-

клатуры планетарного описания расселений в – географии, юриспруденции, политике, архитектуре...

Город, поначалу понимавшийся как физический объект, постепенно превращался в понятие городского образа жизни, а в сфере надежды или утопического созерцания даже в предельный горизонт судьбы и счастья (город-сад, город будущего).

И в этих перспективах мегаполис, как вариант фатально-го бытия, может, как ни парадоксально, не только исчезнуть, но и сохраниться. Он лишь наверняка перестанет быть целью и объектом тотального стремления (все – в Москву, Лондон и Нью-Йорк!) и станет в ряд не менее, а может быть и более актуальных форм поселений и образов существования – от лачуги отшельника до бесконечной молодежной бивуачной тусовки. Такие кардинальные перемены может принести появление системы, обусловленной не внешними факторами производства, коммерции и культуры, а перспективами самообретения индивидуальных и коллективных идентичностей, исчезновением толпы как наиболее адекватного субъекта мегаполитанской жизни, то есть трансформацией массового общества.

Вместе с мегаполисами изменит свой смысл, если сохранится, и субурбия, хотя шансов на выживание у нее как раз меньше, так как она продукт довольно убогого компромисса. Будучи по смыслу оппозицией асфальтовым джунглям она в равной степени стандартна, безлична и неисторична. Хотя остается полна опасностей терроризма, наркотизации и прочих ужасов мегаполитанской жизни, делаясь второй копией образа «конца истории» как кризиса идентификации.

Теперь мы можем вернуться к понятию места, чтобы различать в месте формальную пространственную локальность и качественное своеобразие, с индентификацией, на полюсах которой окажутся категории «уникального» и «своего», то есть «свои» места и «уникальные» места.

Всякое свое место уникально только для его обладателя. Но некоторые уникальные места имеют статус общепризнанной идентичности.

Тогда проблема звучит так: исчезают ли в мире не только уникальные, но и все свои места, не перестает ли мир быть своим миром, что уничтожает возможность быть

text
Alexander Rappaport

счастливым, ибо быть счастливым в чужом мире невозможно.

Здесь возникает известная проблема отчуждения, поднятая Марксом и продолженная экзистенциализмом, и его фиксации образа «другого». Категория своего (не чужого, не отчужденного) в этой традиции была связана с формой собственности как в юридическом, так и в политэкономическом контекстах, а заодно и с социальной категорией класса. Эти определения не утратили смысла, но дело, на мой взгляд, касается иного онтологического толкования категории «своего» и «своей», которая не поддается объективации, и потому выскальзывает из умозрительной калькуляции предметных воплощений.

Ни в социологии, ни в истории нет представления о том, что делает место своим местом. И предлагаемые в этой связи концепции «гения места» только запутывают проблему. Одновременно они ясно показывают, что понятие «гения» постепенно покинувшее нас, людей, стало применяться только к тоталитарным лидерам.

Задача, таким образом, выводит нас к трансцендентности и места, и гения.

Не находя их, мы попадаем в депрессивное переживание «планетарной клаустрофобии» как безвыходности, которой нет оснований надеяться на космическое бегство. Призывы к разнообразию, отказам от стандартов и типов, кастомизации проектов и бесконечности выбора на рынке проектов и услуг лишь заглушают боль этой клаустрофобии, но не уничтожают ее в принципе.

Призывы к разнообразию не решают проблемы утраты идентичности, так как исчезает источник идентификации. Он не может быть заменен произвольным варьированием бесконечных репертуаров.

Идентичность формировалась историей с ее непредсказуемостью и локальной уникальностью ландшафта. Массовое производство и потребление уничтожили эти исторические предпосылки идентичности и заменили их абстрактной идеей многообразия и прогресса, которая не субстанциальна, она не имеет ни места, ни тела. Она принадлежит миру схем.

Бегство от схем, выливающееся (пусть отчасти) в туризм, девальвируется полной описательной каталогизацией мест и стилей. Пытаясь выйти за рамки туризма как потребительской утопии (человек едет в «другой мир»), стали актуальны:

- 1) историко-консервационные инициативы,
- 2) персональная феноменология переживаний, своего рода поэзия мест,
- 3) проектный оптимизм, выдающий в проектном творчестве источник субстанциальной идентичности и новизны одновременно.

Но историческая сентиментальность концентрируется вокруг локусов сформированных до 1950 года.

Персоналистская феноменология ведет к случайной созерцательной событийности.

А проектные инициативы пока что, как правило, оказываются в тупике пророчески бесплодных (даже не безумных) и бессубстанциальных рефлексий. То есть все тот же замкнутый круг, обусловленный утратой исторической открытости опыта и событий.

Ситуация, сложившаяся в таких квазирационалистских реформах, указывает на нерешенную проблему трансцендентности.

Один из возможных выходов тут я вижу в переходе от феноменологии переживаний к профессиональной интуиции как способу коллективной профессиональной идентификации архитектуры.

Этот выход не окончательный. Это только первая ступень, ведущая к реформе архитектурной публицистики, профессионального обучения и культурного активизма.

Подобная интуиционистская программа в пределе предполагает реституцию исторического бытия, основанную не на внешних завоеваниях и конфликтах этносов и производственных систем, а на радикальной трансформации идеи рая как посюстороннего планетарно-экологического воспроизводства живой субстанциальности. То есть речь идет о культе жизни при жизни и на Земле, без упований на райское блаженство в ином мире, в том числе и в будущем мире.

Именно райская перспектива сделала двусмысленной схему прогресса. Прогресс, в том числе и коммунистический, означал, с одной стороны, возвращение рая на землю (подлинный смысл истории по Марксу) но, с другой – дистанцировал это состояние в историческую бесконечность. Эта открытость прогресса не стала новой трансцендентностью, но предложила ее суррогат.

Корни такого суррогата восходят к платонизму и пифагореизму с их абстрактными универсалиями разума и рассудка взамен живой субстанциальности данного в действительности живого переживания времени. Это живое время оказалось лишь средством для достижения абстрактного понятия времени как истории.

Реальная история сменилась отвлеченной схемой истории. В такой перспективе история перестала быть порождающей, так как сама стала проектом.

Мы оказались втянутыми в движение, где живое присутствие приносится в жертву абстрактной схеме будущего. Выход из этого тупика, на мой взгляд, возможен через интуицию, которая преодолевает живое присутствие в трансцендентности воображения.

Воображение же изымается из исторической темпоральности, оно не о будущем. Оно о страшном, прекрасном и... подлинном.

В отличие от ситуационистов, рассматривавших перспективы мегаполиса как места творческой игры, я добавил бы к этой игре и любовь. Ведь любовь обладает всеми признаками трансцендентного прорыва и синтеза воображаемого и реального (желаемого и действительного), но рождается она не столько выбором, сколько случаем. Судьба и случайность мегаполиса, вероятно, открывает неизмеримо большие возможности для любви, чем блуждание (или блуд) в Интернете. Оставаясь физическим телом, а не схемой, мегаполис в таком случае стал бы реализацией субстанциальности судеб в эпоху такого многообразия идентичностей, которого не могла знать традиционная деревня, аул или захолустье, бывшие сценой события судьбы как драматического смысла жизни. Разумеется, скорее всего, эта перспектива имеет свои границы, она ориентирует мегаполис на людей молодых. Но и это немаловажный шанс. Протесты молодежи начиная с 1968 года показывают, что ей именно в городах не осталось места. И она своими лозунгами продолжает спрашивать: «Где я нахожусь?» или «Куда я попал?»

И тут любовь и профессиональная интуиция архитектора могут связаться в один узел и породить институт (миф или культ), возвращающий и любовь, и профессию к действительной независимости и непредсказуемости, утраченные в капиталистическом, социалистическом и бюрократическом образе города и городском образе жизни.

Все эти рассуждения, конечно, сами по себе лишь теоретическая схема, лишь идея, и станет ли она действительностью, то есть обретет ли место, – это вопрос, на который может ответить лишь сам грядущий век.